

Ни дня без строчки

Григорий Кружков *Ветер с океана: Йейтс и Россия*. — М.: Прогресс-Традиция, 2019. — 496 с. ил.

Море и жаворонок. Из европейских и американских поэтов XVI–XX вв. Перевод Григория Кружкова. — СПб: Издательство Ивана Лимбаха. 2019. — 440 с.

Это давно уже растиражированное название малой прозы Юрия Олеши может служить подходящим эпиграфом к творчеству — и поэтическому, и переводческому, и литературоведческому — Григория Кружкова, мастера столь же одаренного, как и неустанного. Диапазон интересов Кружкова необъятен — взять хотя бы два увесистых тома из выпущенного им в прошлом году.

В книге “Ветер с океана: Йейтс и Россия” Кружков выступает, как всегда, един во многих лицах — и как исследователь, и как историк литературы, и, разумеется, как переводчик; для него эти профессии мало сказать смежные — нерасторжимые.

Исследователь (перевод ведь тоже своего рода исследование) творчества именитого англо-ирландского поэта, лауреата Нобелевской премии Уильяма Батлера Йейтса, ставшего, по слову Кружкова, “для новой ирландской литературы тем, кем был Пушкин для литературы русской”, задается амбициозной целью — ввести одного из самых своих любимых

поэтов в контекст русской литературы. Сопоставить, причем на конкретных примерах, автора “Острова Иннишфри”, “Плавания в Византию” и “Смерти Кухуллина” с творчеством его русских современников и последователей. И не только с символистом Блоком и акмеистом Гумилевым, живо интересовавшимся кельтской культурой, переводившим пьесу Йейтса “Графиня Кэтлин” и с Йейтсом встречавшимся, — сравнение с этими поэтами напрашивается. Но и с Георгием Ивановым, Ходасевичем, Волошиным, Вячеславом Ивановым, Мандельштамом, А. Введенским, Пастернаком, Ахматовой.

Задается этой целью — и цели этой достигает. Находит и в самом деле поразительные биографические (скажем, норманнская башня Йейтса в Баллили и дом Максимилиана Волошина в Коктебеле; отношение Йейтса и Волошина к Гражданской войне в Ирландии и России) и поэтические “сближения” крупнейшего ирландского поэта и наиболее видных представителей русского Серебряного века.

У. Б. Йейтс (1919)

Все шире — круг за кругом
 ходит сокол,
 Не слыша, как его сокольник
 кличет;
 Все рушится, основа
 распаталась...

У. Б. Йейтс (“У Ястребиного источника”, 1916)

Какой в долголетье прок?
 Увидя свое дитя
 Десятилетия спустя —
 Морщины увядших щек
 И пятна трясущихся рук, —
 Могла бы воскликнуть мать:
 “Не стоило столько мук
 Носить его и рожать!”

У. Б. Йейтс (“Великая дата”)

Переворот свершился! Ура!
 Гремь, салют!
 Стегает конный пешего, и тот
 и этот плут.
 Ура, опять победа! Опять
 переворот!
 Вновь конный хлещет
 пешего, да конный уж не тот.

У. Б. Йейтс**(“Автоэпитафия”, 1939)**

Взгляни холодным взором
 На жизнь и на смерть.
 Проезжай, всадник!

У. Б. Йейтс (“Разговор поэта с душой”, 1927)

Согласен пережить все это
 снова
 И снова окунуться с головой
 В ту, полную лягушечьей
 икрой,
 Канаву, где слепой гвоздит
 слепого.

А. Блок (1916)

Чертя за кругом плавный
 круг,
 Над сонным лугом коршун
 кружит
 И смотрит на пустынный луг.
 В избушке мать над сыном
 тужит...

В. Ходасевич**(“Перед зеркалом”, 1924)**

Я, я, я. Что за дикое слово!
 Неужели вон тот — это я?
 Разве мама любила такого,
 Желто-серого, полуседого
 И всезнающего, как змея?

Максимилиан Волошин**(“Путями Каина”, XIII)**

В нормальном государстве вне
 закона
 Находятся два класса:
 Уголовный и правящий.
 Во время революций
 Они меняются местами, —
 В чем
 По существу нет разницы.

Александр Введенский**(“Элегия”, 1940)**

На смерть, на смерть держи
 равенье,
 Певец и всадник бедный.

Борис Пастернак**(“Любимая — жуть”, 1917)**

Он видит, как свадьбы
 справляют вокруг,
 Как спаивают, просыпаются,
 Как общелягушечью эту икру
 Зовут, обрядив ее, паюсной.

Сближения эти (иные могут назвать их случайными или же чисто формальными) Кружков не только со знанием дела подбирает и внятно, демонстрируя завидную эрудицию, комментирует, но и попутно делает любопытные открытия. Читатель убедится в этом, если прочтет прямо-таки детективную историю автографа Гумилева на первом издании стихотворной пьесы Йейтса “Графиня Кэтлин”. В результате перед читателем открывается широкая панорама отечественной и англоязычной поэзии XX века, увлекательная история литературных связей, перекличек, взаимовлияний.

“Ветер с океана” — это, вопреки подзаголовку, не только Йейтс и Россия. Кого только в этой книге — в особенности же в разделе “Дополнения и продолжения” — не встретишь. Задействованы в ней крупные явления и фигуры европейской и американской литературы XX века, многих из них, к слову, мы знаем по переводам Кружкова: Шеймаса Хини, например, или Уоллеса Стивенса. И то сказать, творческий портрет поэта такого калибра, как Йейтс, был бы куда менее запоминающимся без его современников, без Метерлинка, Рильке, Элиота, считавшего Йейтса, своего поэтического антагониста, “каким-то (пишет Кружков) запоздавшим прерафаэлитом”. А также — без поэтов младшего поколения: Роберта Грейвза, Дилана Томаса, тех же Стивенса и Хини. И, конечно, без Уистена Хью Одена, однажды назвавшего Йейтса “мастером красноречия” (“The Master of Diction”) и написавшего знаменитые стихи на

его смерть. И без Эзры Паунда: в 1914–1916 году, читаем у Кружкова, авангардист и новатор стиха Паунд привил символисту Йейтсу стойкий интерес к японскому театру масок. И, неожиданным образом, — без Фридриха Ницше, которым молодой Йейтс, как и многие его сверстники, зачитывался и увлечение которым “делил” с нашим Вячеславом Ивановым, — не зря же Гумилев называл Йейтса “их, английский Вячеслав”.

“Ветер с океана” — это одновременно история жизни и творческого становления Йейтса и история отношений поэта с его русским переводчиком Григорием Кружковым: в главе “Серебряные яблоки луны”: перевод как приключение” Кружков впускает читателя в свою переводческую лабораторию, а в последнем разделе книги “Избранные стихотворения” демонстрирует результат, в этой лаборатории полученный. Результат, что и говорить, внушительный. Всего два примера:

Бывает женщина в любви
и гордой и блажной,
Но храм любви стоит, увы,
На яме выгребной;
О том и речь, что не сберечь
Души — другой ценой.

*(Из стихотворения
“Безумная Джейн говорит
с епископом”)*

Я — Джек-на-ходулях, из века
в век
тянувший ляжку свою;
Я вижу, мир безумен и глух,
и тщетно я вопию.

*(Из стихотворения
“Высокий слог”)*

В “Море и жаворонке”, итоговом сборнике поэтических переводов Григория Кружкова за полвека, тоже присутствует Уильям Батлер Йейтс. Но есть, понятно, и многие, очень многие другие: Донн и Китс, Эдвард Лир и Эмили Дикинсон, Уоллес Стивенс и средневековые ирландские поэты: Ирландия — давняя (и не без взаимности) любовь Кружкова. И моя, кстати, тоже. А еще — Ронсар, Готье, Рембо, Гонгора. Переводы с французского и испанского Кружков в предисловии не без некоторого кокетства называет “вылазками за пределы англоязычных стран во французский и испанский огород”. Где, замечу, переводчик чувствует себя ничуть не менее вольготно, чем в огороде английском.

“За свою жизнь я переиграл десятки ролей, от поэзии XVI века до современности”, — пишет Кружков, не первый сравнивая переводческое искусство с актерским и вспоминая свой путь (теперь, задним числом, его смело можно назвать триумфальным) в поэтический перевод и первые шаги на этом пути. Шагов этих было два: всем нам памятный букинистический магазин на улице Качалова (теперь нет ни того, ни другой), где продавались “обломки каких-то еще дореволюционных библиотек”. И редакция зарубежной литературы на пятом этаже тогда крупнейшего (а ныне полуживого) издательства “Художественная литература”, куда не вполне уже юный, но еще только начинающий переводчик пришел показать свои первые переводы числом тоже два: “Ода греческой вазе” Китса и сонет неизвестного английско-

го автора. Пришел и, против ожидания, был в те не слишком ласковые времена принят и обласкан...

Эта почти пятисотстраничная книга могла бы быть вдвое, втрое толще: в “Море и жаворонке” Кружков, взыскательный “селекционер” собственной переводческой продукции, включил лишь то, что “наиболее удачно получилось по-русски”. И, по своему обыкновению, предварил стихи каждого переведенного поэта сверхкоротким, восемь-десять строк от силы, биографическим экскурсом. Сказал же Михаил Гаспаров (и это тоже вспоминает Кружков в предисловии), отвечая на вопрос, старается ли он, перед тем как переводить, больше узнать о поэте: “Не то слово. Я обязан знать о нем всё”.

Вот и Григорий Кружков считает себя обязанным знать о поэте, которого переводит, если не все, то уж точно больше, чем написано в вышеупомянутых вступлениях, рассчитанных на читателя, не слишком в зарубежной поэзии осведомленного. Есть у Кружкова работы и куда более серьезные и пространные. Прочтите, если хотите в этом убедиться, его поэтические антологии: “Лекарство от Фортуны” (2002), “Пиротскаф: из английской поэзии XIX века” (2008), “Очерки по истории английской поэзии” (2015, 2016). В этих и других его сборниках переводов англоязычной поэзии вы обязательно найдете, вкупе с переводами, то, что Кружков называет “рассказы о своих любимых поэтах”. Это, как правило, действительно рассказы, увлекательные истории, начисто лишённые лите-

ратуроведческой схоластики; “перевод как приключение” — лучше не скажешь.

Что и говорить, Кружков — любвеобильный переводчик. В “Море и жаворонке” вы найдете и хрестоматийных авторов (тот же Китс, Шекспир, Эмили Дикинсон, Фрост) — на русский они переводились отнюдь не только Кружковым. И авторов, напрочь забытых и до Кружкова по-русски малоизвестных или же неизвестных вовсе. Последних немало: в этом юбилейном томе переводческих открытий хватает. Кто знает, к примеру, сожженную Генрихом VIII английскую поэтессу, ревностную и стойкую католичку Анну Эскью (1521—1546)? Или хранителя королевских зданий Джона Харрингтона из Степни (1512—1585)? Или Чидика Титчборна (1558—1585)? Стихотворение “Моя весна — зима моих забот” он написал в Тауэре накануне казни, к которой был приговорен за попытку освободить из заточения Марию Стюарт:

Сколь горек мне доставшийся
удел:
Вот — жизнь моя и вот — ее
предел.

Или Джона Дэвиса (1560—1626), чьи “дурацкие сонеты”, в которых он высмеивал бездарных стихоплетов 1590-х годов, не слишком вяжутся с его более чем серьезной должностью верховного прокурора Ирландии? Или автора “Подражания монологу Гамлета”, священника Ричарда Джейго (1715—1781), которому, как и Лоренсу Стерну, духовный сан нисколько не помешал заразительно смеяться, в том числе и над своими собратьями по перу:

...Так критики нас обращают
в трусов,
И так румянец свеженьких
поэм
Хиреет в груди ветхих
манускриптов,
И стихотворцы, полные огня,
Высоких замыслов и
вдохновенья,
Робея пред издательским
порогом,
Теряют имя авторов...

Точно так же полвека назад “робел пред издательским порогом” никому не ведомый тогда Григорий Кружков. Робел, но, как мы теперь убедились, “имя авторов” не потерял.